

по форме и декору. Поскольку здесь хорошо прослеживается стратиграфия, сопоставимая к тому же с селинунтской, исчезает неуверенность в хронологии. Поэтому не случайно В. Туза считает, что раскопки Каstellо делла Пьетра должны дать более точные по сравнению с другими центрами данные для понимания элимской культуры ²²⁴.

Наличие элимских поселений удалось установить до начала регулярных раскопок зондажами также в Полицо, Каstellлаццо, Монтеперле, Канните, Поркаре ²²⁵ (см. выше, рис. 1).

Таким образом, в настоящее время известно уже 11 элимских центров — число, вполне достаточное для установления определенных закономерностей в их расположении. В отличие от пунийских поселений, обычно связанных с морем, они расположены на расстоянии от побережья и обязательно на возвышенностях, занимая горы или холмы, вершины которых образуют равнину, удобную для поселения ²²⁶.

Знание такой топографической особенности открывает широкие возможности для поиска новых элимских поселений, что дает перспективы исследования цивилизации, которая интересна не только сама по себе, но и с точки зрения ее взаимодействия с греческим и пунийским мирами Западной Сицилии.

Итак, раскопки в Сицилии за последние 25 лет позволили выдвинуть или по-новому поставить ряд проблем, не имевших достаточного археологического обоснования до 50-х гг. XX в., а на одном нарративном материале не разрешимых. Можно говорить о новой постановке проблемы догреческой Сицилии и контактов местного населения с греческими колонистами, о внесении значительных коррективов в проблему взаимоотношений греков с пунийским населением Западной Сицилии, об углублении всей проблематики греческой колонизации архаического периода (включая внутреннюю жизнь колоний) в результате более широкого изучения раскапывавшихся ранее полисов и совершенно новых раскопок городов, в прошлом никогда не исследовавшихся, о пересмотре ряда сложившихся представлений в области истории искусства Сицилии и ее урбанистики.

Далеко не все перечисленные здесь проблемы могут быть в настоящее время решены на основании уже полученного археологического материала, но сама их постановка плодотворна и открывает новые возможности перед исследователями греческой колонизации Запада.

Л. С. Ильинская

²²⁴ Там же, стр. 539, 540.

²²⁵ Там же стр. 537 сл.

²²⁶ Там же.

HEINRICH KUCH, *Kriegsgefangenschaft und Sklaverei bei Euripides, Untersuchungen zur «Andromache», zur «Hekabe» und zu den «Troerinnen»*, Berlin, Akademie-Verlag, 1974, 98 стр.

В небольшой монографии, посвященной изображению военнопленных и порабощенных в трех трагедиях Еврипида, Г. Кух ставит перед собой двойную задачу: внести определенный вклад в изучение проблем античного рабства и выявить взгляды драматурга на рабовладение и положение рабов (стр. 20, 70). Соответственно уже в первой (вводной) главе автор характеризует состояние интересующего его вопроса по двум направлениям: общие работы по античному рабству и специальные исследования, касающиеся изображения рабов у Еврипида. В главе II дается очерк исторической обстановки, в которой возникли «Андромаха», «Гекуба» и «Троянки», и содержится экскурс в историю права победителя от «гомеровских» времен до эпохи, современ-

ной Еврипиду. Затем тщательно исследуются понятия, употребляемые в названных трагедиях для обозначения различных категорий рабов (гл. III), и положение порабощенных (их поведение по отношению к поработителям и ожидающая их доля, нравственный уровень порабощенных и их господ), из которого автор стремится сделать вывод о мировоззренческой позиции самого трагического поэта (гл. IV).

Три указателя — античных источников, именной и предметный, а также греческих слов — позволяют удобно ориентироваться в работе и использовать ее также для необходимых справок.

Уже из краткого перечисления охваченных автором проблем видна сложность и некоторая противоречивость избранной им темы. При всей близости трагедий Еврипида к современной ему жизни, при всей их давно установленной политической злободневности они принадлежали тем не менее к определенному художественному жанру, связанному известными традициями в выборе материала и в его подаче. Забвение этого обстоятельства, попытки конструировать мировоззрение Еврипида на основании отдельных высказываний или поведения действующих лиц, вырванных из художественного контекста, не раз приводили исследователей к односторонним выводам, чаще всего идеализировавшим достаточно сложный творческий облик древнего поэта. Так, в частности, среди персонажей Еврипида имеется немало домашних рабов, безоговорочно преданных своим господам и возводящих эту преданность на уровень жизненной философии¹. Естественно, что и хозяева платят таким рабам доверием и добрым к ним отношением, из чего в немецкой классической филологии на рубеже XIX и XX веков возникло представление об Еврипиде — последовательном борце за равноправие людей, принципиальном противнике рабства как общественной системы.

Между тем, как справедливо отметил уже в наше время И. Фогт, поведение еврипидовских верных рабов, выросших в доме своих господ, есть не более чем пережиток традиционной идеализации героического прошлого под углом зрения патриархальной морали. Домашние рабы обычно оказываются не затронутыми трагедийной проблематикой, перед ними не возникает необходимость нравственного выбора. Поэтому Г. Кух с полным основанием исключает эту группу персонажей из своего поля зрения, сосредоточивая внимание на только что плененных или уже обращенных в рабство свободных, с которыми, в свою очередь, тоже связана своеобразная проблема: все они — благородные герои, и традиционная мифологическая «номенклатура» не позволяет им «спуститься» до уровня реального гражданина из Митилены или с Мелоса, попавшего в рабство во время Пелопоннесской войны. Тем более приятно отметить, что автор рецензируемой работы вполне учитывает специфичность исследуемого материала и не делает из него излишне прямолинейных выводов. Связь трагедий Еврипида с проблемой рабства Г. Кух выявляет в широком плане, исследуя их и как художественное целое, и в отдельных аспектах, обнаруживающих все более пристальный интерес драматурга к положению плененных и порабощенных.

Не предлагая новых путей в датировке «Андромахи» и «Гекубы» и относя первую из них, скорее всего, к 425 году, а вторую — к 424-му (время постановки «Троянок» — 415 г. — документально засвидетельствовано), автор обращает внимание на обусловленное временем их постановки приближение момента и места действия в трех трагедиях к наиболее драматическому эпизоду — взятию Трои. Время действия в «Андромахе» отделено от падения Иллиона промежутком не менее чем в 7—8 лет — у главной героини уже подрос сын от Неоптолема, способный оценить угрожающую ему смертельную опасность. Далеко от Трои и Фтия, служащая местом действия в этой трагедии. В «Гекубе» действие происходит вскоре после взятия Трои на берегах Геллеспонта; троянские женщины уже распределены среди победителей, которые готовятся к отплытию на родину. Действие «Троянок» разворачивается у стен только что взятого Иллиона, который поджигают со всех концов у них на глазах, и в начале трагедии

¹ См., например, «Андромаха» 88—90; «Ион» 851—853, 967 сл., 986, 1040—1044; «Ифигения в Авлиде» 304 сл., 312.

пленницы еще не знают, кто из них кому достанется; решение ахейских вождей оглашается уже только по ходу пьесы, и назначенных в добычу женщин уводят к их новым господам.

Постепенное приближение времени и места действия к самому акту обращения троянок в рабство сопровождается увеличением числа персонажей, непосредственно испытывающих на себе всю тяжесть порабощения. В «Андромахе» главная героиня, хоть и взятая давно в плен, все же ждет помощи от Пелея, которая в самом деле приходит вовремя, чтобы избавить Андромаху от гибели; к тому же вторая половина трагедии не имеет прямого отношения к судьбе Андромахи-пленницы. В «Гекубе» безжалостная рабская доля обрушивается не на одну главную героиню, но и на Поликсену, приносимую в жертву на могиле Ахилла; при этом, однако, Гекуба и другие пленницы находят в себе силы, чтобы отомстить Полиместору за вероломное убийство Полидора. В «Троянках» перед зрителем проходит уже целая вереница обреченных на рабство женщин — все та же Гекуба, Андромаха, Кассандра, да и весь хор. О какой-либо их активности здесь не может быть и речи; их удел — бесконечное страдание и тоска по погибшим близким.

Это очевидное от «Андромахи» к «Троянкам» нагнетание трагизма в положении троянских женщин Г. Кух объясняет все большим усилением жестокости по отношению к пленным, все более частыми фактами массовых расправ с покоренными, которыми характеризуется поведение воюющих сторон в течение первой половины Пелопоннесской войны.

На протяжении «пятидесятилетия» военная практика почти не знала фактов массового уничтожения и обращения в рабство побежденных жителей-греков. Однако с началом Пелопоннесской войны возродились жестокие нормы гомеровского времени, на этот раз отнюдь не оправданные экономическими соображениями. Автор приводит длинный список массовых убийств и обращения в рабство поголовно всех побежденных в течение всего лишь 10—12 лет: расправа афинян с митиленянами, эгинетами из Фирен, жителями Тороны, Скионы, Мелоса — и подобные же действия спартанцев в отношении защитников Платей, Лекифа и Гисий (стр. 32—37). Синхронная таблица на стр. 37 не оставляет сомнения в том, что образная система в рассматриваемых трагедиях Еврипида находится под воздействием все большего ожесточения воюющих сторон в обращении с побежденными, хотя и не следует искать непосредственного отражения в каждой трагедии именно данного конкретного исторического факта. То, что Фукидид многократно констатирует протокольно-бесстрастным *ἡδραπόδισαν*, облекается у драматурга в художественную ткань, пронизанную глубочайшим состраданием к доле порабощенных.

Несводимость той или иной трагедии к одному историческому факту не исключает, однако, возможности использовать их как источник, характеризующий положение порабощенных в действительности, современной Еврипиду. С этой точки зрения особенный интерес в монографии Г. Куха представляет небольшая, но очень тщательно выполненная глава о терминах, использованных в «троянских трагедиях» для обозначения рабов (стр. 42—50).

Автор начинает с лексикологического анализа «Гекубы», в которой отчетливо выделяются две группы рабов, различающиеся по терминологии. Одна из них — домашние слуги и служанки, называемые соответственно *λάτρις*, *δμοῖς*, *δμῶς* (ст. 609, 966, 1282) или еще более нейтрально: *γυνή*, *πάροικες* (889 сл., 979). Другая группа — в прошлом свободные, а теперь обращенные в рабство. В их характеристике выявляются два терминологических аспекта: насильственный захват (*δориθήρατος*, *αἰχμάλωτος* «добытый копьем») и лишение свободы (*δούλος* и производные — свыше 20 случаев); ни разу к троянским пленницам не применяются понятия, связанные с обязанностями по дому.

В других разбираемых трагедиях намеченная классификация претерпевает некоторую модификацию. С одной стороны, Андромаха и троянские пленницы по-прежнему неоднократно характеризуются как захваченные силой (*δориθήρατος*, *αἰχμάλωτος* и т. п. — 7 случаев в «Андромахе», 9 — в «Троянках») и лишены свободы рабыни (*δούλος*

и производные — 19 случаев в «Андромахе», 20 в «Троянках»). Что же касается понятий *δμῶες*, *πρόσπολοι*, *λάτρις* и т. п., то они употребляются не только применительно к домашним слугам и свите Менелая или Гермियोны, но и для обозначения участи пленных троянских женщин (5 случаев в «Троянках»); этот терминологический аспект вполне согласуется с размышлениями самих пленниц об ожидающей их в Греции работе. Следует, однако, отметить, что понятие *ἀνδράποδος* и его производные, столь частые у Фукидида для обозначения людей, обращенных в рабство, не встречаются у Еврипида ни в троянских, ни вообще в сохранившихся трагедиях. Не пользуются ими также Эсхил и Софокл, потому что благородные герои древнегреческих трагедий даже в состоянии порабощения не перестают быть людьми с сильной волей и самостоятельным образом мыслей. Переход из одного общественного состояния в другое не делает Гекубу, Андромаху, Кассандру или Поликсену бессловесным «двуногим» орудием, отличающимся только по количеству ног от «четвероногого» рабочего скота (*τετράπους*).

Отсюда — характерные черты в поведении еврипидовских пленниц, хорошо помнящих свое недавнее прошлое и не утративших привычки говорить, как свободным. В частности, Гекуба по-прежнему высоко ценит славу, презирает чернь и сохраняет способность приказывать самому Агамемнону — автор сравнивает такое поведение с относительно свободным положением афинских рабов, засвидетельствованным в Псевдоксенофоновой «Афинской политике» (стр. 52). Я думаю, однако, что Еврипид попросту наделяет свою героиню чертами, традиционными для образа некогда могущественной царицы и этим усиливает трагический контраст между ее «природой» и реальным положением. В другом месте Г. Кух в сущности приходит к тому же выводу, прослеживая отношение покоренных к победителям и к ожидающему их труду под принуждением (стр. 62). Во всей троянской группе трагедий содержатся многочисленные жалобы на потерю свободы, и часто высказывается мысль о том, что смерть предпочтительнее рабства. Обслуживание новых господ, унижающее пленниц, и тем более вынужденный брак с рабом как крайняя степень человеческого падения — эта перспектива придает трагическую глубину состоянию троянских женщин, даже если оно в какой-то степени напоминает фактическое положение рабов в Афинах V века. Как обычно у Еврипида, вполне современные реалии не являются для него самоцелью, а подчиняются единому художественному замыслу.

В таком же плане мне представляется целесообразным рассматривать в разбираемых трагедиях противопоставление гуманности рабов и жестокости господ, а также те действия побежденных, которые автор называет их борьбой. Что троянские пленницы наделены более гуманными чертами, чем их господа, несомненно из поведения Менелая и Гермियोны по отношению к без того несчастной Андромахе или Одиссея — к Гекубе, которая спасла его от разоблачения в Трое и теперь видит в ответ холодное безразличие, прикрываемое высокими словами («Гекуба», 249—295). Не приходится уже говорить о жертвоприношении Поликсены, превращающемся в убийство, и о смертном приговоре, вынесенном малютке Астианакту. Едва ли, однако, можно расценивать как акт борьбы побежденных стремление Андромахи обеспечить себе спасение, пользуясь защитой алтаря Фетиды, или «активность» Кассандры в «Троянках», проявляющуюся в ее мрачных пророчествах по адресу Агамемнона (стр. 67—69). Автор рецензируемой работы справедливо ставит под сомнение правомерность применения к подобным действиям понятия «классовой борьбы», предпочитая говорить о ее «предчувствии» (*Vorahnungen*, стр. 70), — я думаю, что в пророческих наитиях Кассандры не больше предчувствия классовой борьбы, чем в одержимости дельфийской Пифии.

Подводя итоги своему исследованию, Г. Кух еще раз подчеркивает, что точку зрения трагического автора следует извлекать не из отдельных его высказываний, а из контекста каждой пьесы и — еще лучше — из всех трех, вместе взятых. При таком подходе выясняется, что судьба военнопленных и порабощенных все больше занимает Еврипида на протяжении десятилетия между 425 и 415 гг.: от участи отдельного человека, находящего спасение от преследования, до всеобщего, массового и безвыход-

ного порабощения, низводящего людей до самых низших ступеней социальной лестницы. Голос Еврипида звучит все громче против жестокости и насилия, но призывы его остаются безрезультатными, и он не может предложить какой-либо цельной спасительной программы. Его известные из других трагедий симпатии к «среднему» классу и земледельцу-автургу в троянских трагедиях не прослеживаются. Бесспорное осуждение современной ему практики и историческое бессилие что-либо в ней изменить делают Еврипида и в изображении плененных и порабощенных «самым трагичным» из поэтов (стр. 70—77). К этому можно добавить, что и те трагедии, в которых Еврипид расточает похвалы «среднему» классу, не становятся от этого менее противоречивыми по отношению к действительности и к мифологической традиции, служащей средством ее воспроизведения. Возьмем ли мы «Электру» или «Ореста», присутствующая в обеих трагедиях фигура автурга (в «Оресте» мы узнаем о нем из слов вестника) не делает менее бессмысленной и жестокой гибель Клитемнестры от руки собственного сына и не помогает уверовать в разумность того мира трагикомического фарса, какой представлен в «Оресте». Впрочем, эти рассуждения уже выводят нас за пределы темы, избранной в рецензируемой работе.

Возвращаясь же к исследованию Г. Куха, нельзя не оценить его филологическую фундаментальность, продуманность и основательность выводов, которые дают повод для полемики только в некоторых нюансах, наконец, — прекрасное знание литературы, в том числе советской. Из работ, появившихся до 1971 г., когда книга была в основном подготовлена к печати, может быть добавлено лишь несколько: В. B i l i n s k i, *Walka postępu i reakcji na scenia Eurypidesa* («Meander», 1954, № 7 и 8), где несколько страниц (398—401) посвящено «рабскому вопросу» в понимании Еврипида; Ю. В. О т к у щ и к о в, «Андромаха» Еврипида и Архидамова война (ВДИ, 1960, № 3, стр. 43—60) — здесь автор отстаивает датировку «Андромахи» 424—422 гг.; A. W. A d k i n s, *Basic Greek values in Hesiod and Heracles Furors* (CJQ, 60, 1966, стр. 193—219) — здесь стр. 196—200 имеют прямое отношение к диалогу Одиссея с Гекубой и вопросам нравственности, которых Г. Кух касается на стр. 63 сл. К фр. 902 и 1047, обсуждаемым на стр. 73, прим. 1, уже обращался в связи с философскими идеями конца V в. G. S c h n a i d e r, *De exulibus et captivis tragicis* («Eos», 49, 1958, стр. 56—59); в остальном заглавие статьи может ввести в заблуждение, так как речь идет только о положении изгнанников; военнопленных автор не касается.

Поскольку книга Г. Куха, приготовленная для печати в конце 1971 г., вышла два с половиной года спустя, автор вполне основательно включил в список литературы также работы, увидевшие свет в 1972 и 1973 гг. Однако это обстоятельство дает и рецензенту право дополнить библиографию Куха несколькими недавно вышедшими исследованиями. В первую очередь должна быть названа книга: V. d i B e n e d e t t o, *Euripide: teatro e società*, Torino, 1971 (см. рецензию в ВДИ, 1974, № 1, стр. 179—190), затем две статьи: J. C. H o g a n, *Thucydides 3, 52—68 and Euripides* («Hesaba» («Phoenix», 26, 1972, стр. 241—257) — указанные главы Фукидида привлекаются для анализа уже упомянутого спора Одиссея с Гекубой; P. G u e r r i n i, *La morte di Euristeo e le implicazioni eticopolitiche negli «Ereclide» di Euripide* («Athenaeum», 50, 1972, стр. 45—67) — финал «Гераклидов» Г. Кух рассматривает как своего рода предварительную постановку вопроса о рабстве в трагедиях Еврипида (стр. 38). Наконец, укажем на две статьи, появившиеся почти одновременно и оценивающие с диаметрально противоположных позиций постулируемое идейное единство трилогии 415 г. В то время как Максвелл-Стюарт (P. G. M a x w e l l - S t u a r t, *The dramatic poets and the expedition to Sicily*, «Historia», 22, 1973, стр. 397—404) придерживается старого мнения о разработке во всех трех трагедиях «Александр», «Паламед», «Троянки») и даже сатиrowsком Сисифе некоего общего комплекса идей, Ковиарис (G. L. K o v i a r i s, *Alexandros, Palamedes, Troades, Sisyphos — a connected tetralogy? a connected trilogy?* HSt, 77, 1973, стр. 85—124) стремится доказать полную сюжетную и идейную самостоятельность каждой пьесы и даже последовательность, в которой они перечислены у Элиана, объясняет просто известным распределением трагедий по алфавиту в античных изданиях Еврипида.

В. Н. Ярхо